

ИНГА  
МИЦОВА

СНОВА

ВЫПЛЫЛИ

ГОДЫ

ИЗ  
ДЕТСТВА...



Инга Мицова

**Снова выплыли годы из детства...**

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Мицова И. З.**

Снова выплыли годы из детства... / И. З. Мицова — «Алетейя»,  
2017

ISBN 978-5-906910-89-9

Книга посвящена воспоминаниям автора о раннем детстве: описываются счастливая довоенная жизнь в Ленинграде до ареста в 1938 году отца – сотрудника военно-медицинской академии, двухлетняя безотцовщина в городе Рыльске на родине матери, освобождение отца, возвращение в Ленинград, война, жизнь в оккупации... освобождение... И. З. Мицова – автор повести «Аз есмь Сергие» о святом Сергии Радонежском (1994), евангельского романа «Следуй за мной» (2000), составитель редактор и один из авторов книги «Академик Георгий Вячеславович Курдюмов» (2004). В 2008 году автором опубликована «История одной семьи на протяжении 20-го века», в 2013 году вышла книга «Идите и проповедуйте» (на тему деяний св. Апостолов), в 2016 – сборник рассказов «Монологи».

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906910-89-9

© Мицова И. З., 2017

© Алетейя, 2017

## Содержание

«Снова выплыли годы из детства...»	6
Конец ознакомительного фрагмента.	17

**Инга Мицова**  
**Снова выплыли годы из детства...**

© И. З. Мицова, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

\* \* \*

## «Снова выплыли годы из детства...»

Первое, что вспоминается, что я вижу и чувствую до сих пор, – родители возвышаются надо мной, держат за руки. Темнота. Правой рукой я держу мамину руку, левой папину... Я чувствую напряжение родителей и вглядываюсь в темноту... Почему-то ощущается, что мы втроем. Мы – единое. Стоим где-то на краю, чего-то ждем. Папа говорит:

– Ингуся, смотри, смотри!

Как четко детское восприятие ощущает разницу миров – живого и неживого! Справа от меня, за невысокой оградой, в темноте – что-то теплое, живое колыхается. Там сквер. Слева, за папой, – неживое, серая стена здания. Между папой и стеной движутся одинокие тени.

– Ингуся, смотри, смотри!

Два ярких огромных огня с шипением медленно приближаются из темноты. Свет становится все ярче и ярче, шипение все громче. Что-то огромное, черное, неживое надвигается на нас темной массой и останавливается, не доехав.

– Ингуся, это паровоз, – наклоняется папа ко мне. – Ингуся, смотри, смотри!

Сохранилась моя фотография того времени. Растерянный ребенок с двумя огромными бантами на голове и на груди, положив руку на большой мяч, стоит на стуле. Глаза круглые, напряженные, рот полураскрыт. Оттого, что левая ножка немного выставлена и рука зажата в кулачок, кажется, что я сейчас отброшу мяч и шагну со стула.

Именно к этому времени относятся мои первые детские воспоминания.

Вокруг черным-черно, и вдруг вдали слева появляется свет.

– Смотри, смотри, Ингуся...

И еще одно воспоминание из того же раннего детства. Поздним вечером мы мчимся на вокзал. Новые слова – «такси» и «эмка». Темные мокрые улицы, красные огни светофоров. Я чувствую волнение мамы и злое раздражение папы. Машина непрерывно осипшим голосом кричит: «Эа-эа-эа!»

Я сижу на коленях у папы, рядом с шофером. Шофер черный, в черной фуражке.

– Не успеем, – говорит мама сзади, – не успеем.

– Успеем, – говорит шофер и мчится на красный свет.

«Э-э-э!» – кричит машина. «Э-э-э!» – и мчится по черной блестящей дороге с редкими фонарями.

«Э-э-э!» – кричит, захлебываясь, машина.

«Она так кричит, – думаю я, – потому что называется Эмка».

Я всем телом устремляюсь вперед – кажется, так я помогаю машине. Машина мчится, старается, кричит, пугает – она живая! А шофер? Шофер держит руль, он тоже подался вперед и только время от времени повторяет: «Успеем». Я точно знаю, что мы мчимся на вокзал, что мы вышли из красного дома, из подъезда со стеклянными дверями, и что вещи в багажник помогал укладывать шофер. Я не боюсь, но чувствую беспокойство папы, мамы и шофера.

– Придется бежать, – говорит шофер. Он хватает чемодан.

– Не успеем, – произносит мама, – не успеем.

– Успеем, – говорит шофер.

Я у папы на руках.

Успели!

– Благодаря шоферу, – говорит папа. – Очень опытный.

– Он мчался на красный свет, – говорит мама.

Я не понимаю, что звучит в голосе – страх, осуждение или благодарность. Понятно одно: шофер молодец и ничего не боялся. Как не боялась я, сидя на папиных коленях и вглядываясь в темную прямую улицу, освещенную редкими лампочками. Мне кажется, что я уже гораздо старше той, что тогда стояла на перроне. Вероятно, мне уже два года, но куда едем – не помню. Дом, где мы живем, остался позади. Я люблю его. Это тоже часть меня – как красные вишенки на меховом капоре, как серые рейтузы, как огромная трехстворчатая стеклянная дверь парадного с большим навесом над ним. Мне нравится наш дом, он красивый и надежный. Распахиваются двери, и два старичка появляются перед нами. Они кланяются маме, а мне старушка вкладывает в карман конфетку.

Не выпуская мамину руку, я поднимаюсь по белоснежной широкой лестнице с узорчатыми чугунными перилами. Но больше перил меня интересуют золотые кругляшки на каждой ступеньке по бокам.

– Зачем пупырышки? – спрашиваю я.

Мне хочется их потрогать, но мама не разрешает.

– Раньше здесь лежал ковер, и они его крепили, – говорит мама.

Очень хочется дотронуться до этих блестящих золотых колечек. Какой ковер? Они сами по себе на каждой ступеньке шагают вместе со мной, глядят на меня. Но левая рука тянется за мамой. Мама спешит. А я бы села на белую гладкую ступеньку и потрогала бы эти золотые колесики.

Под лестницей живет «Титан», огромный, красный и злой. Туда мне вход строго запрещен.

– Ингочка, иди скорее, скоро папа придет, надо готовить обед.

На фотографии того времени – лукаво улыбающаяся девочка в заячьей шубке и меховом капоре с приколотыми вишенками.

День начинается. Я вскарабкиваюсь на «папы-мамину» кровать и внимательно рассматриваю маленькую темно-красную открытку, прикрепленную кнопкой к обоям. На ней – дядька с темной бородой строго смотрит на меня.

– Толстой, – говорит папа. – Толстой-непротивленец.

Кому говорит «непротивленец»? Не мне же, двухлетней? Но запоминаю: «Толстой-непротивленец». Глаза-гвоздики строго смотрят на меня.

Мама одевает меня. Снимает ночную рубашку, надевает на меня белую сорочку, застегивает на спине мягкий байковый лифчик с большими белыми пуговицами. От лифчика тянутся две длинные резинки, к ним крепятся чулки. Чулки противные, коричневые, в рубчик. Все время сползают и становятся гармошкой. Потом мама надевает на меня платье. Я иду в столовую завтракать. Папа уже ушел на работу. За окном серый свет ленинградского утра.

Я сажусь за стол. Круглый стол покрыт белой скатертью. Поверх скатерти наискосок – белая, вся в аппликациях и мережке дорожка с вышитыми красными клубничками. Я их поглаживаю и ощущаю пушистую выпуклость красных ягод. На дорожке лежит голубая гарднеровская доска. Я ее тоже каждое утро внимательно рассматриваю, когда ем кашу. Мои первые впечатления о красоте – дорожка с клубничками, голубая доска с птицами и, конечно, черная женщина в фонтане. Да, еще маленькая коричневая, немного шершавая подушечка, вышитая крестом. На ней скворечник и голубая птица.

– Подушечку вышил папа, – говорит мама.

– Разве папа умеет вышивать?

– Мой папа, – говорит мама.

И у меня в голове путаница. У мамы – папа?

Сбоку большое окно, прикрытое тюлевой занавеской, большой подоконник, на который я легко залезаю и смотрю вниз.

– Халат! Халат!

Во дворе стоит мужчина в желтом толстом халате нараспашку и, задрав голову, кричит: «Халат! Халат!»

– Что он кричит?

– Это татарин. Он старые вещи собирает.

– Ножи, вилки! Точу! Лужу кастрюли!

Внизу дядька ногой жмет на педаль. Это точильщик. Жмет, жмет. Колесо наверху крутится. Огненные брызги летят во все стороны. И пронзительный звук – «ж-ж-ж-ж!».

– Что на обед? – спрашивает папа, лишь только открывает дверь, и мама торопится накрывать на стол. Обедаем мы поздно – когда папа возвращается с работы, часов в шесть. Папа обедает, потом ложится на черную оттоманку отдохнуть. Внизу во дворе лает маленькая белая собачка. Я залезаю на подоконник:

– Авка, молчать! Папа спит! – кричу я. – Авка, молчать!

Папа после работы спит на черной оттоманке. Я ее не люблю, на нее не сажусь. Черная, блестящая, страшная. А в углу у дверей – печка до потолка, серая, круглая, гофрированная. Я не то чтобы ее не люблю, но опасуюсь. Мама много раз читала про печку, которую девочка Лена разожгла, а огонь выскочил на пол. И хотя мы не топим печку, все же я ее не открываю.

«Печку, Леночка, не тронь, жжется, Леночка, огонь», – читает мама. На картинке девочка с тонкими косичками в желтом платьице сидит на корточках перед печкой, точно такой же, как наша. Виден ярко-красный огонь в приоткрытой дверце. «Только мать сошла с крылечка, Лена села перед печкой... Отворила дверцу Лена, соскочил огонь с полена, поначалу выжег пол, влез по скатерти на стол...» И вот уже картинка, как языки пламени лижут стены.

Нет, мне печка не нравится, и я к ней не подхожу.

Мама мне много читает. «Мистер Твистер... миллионер, владелец заводов, газет, пароходов... решил объездить весь мир. Согласна жена, и дочь не прочь...»

Как мы смеемся с папой вечером, глядя на картинку, где мистер Твистер пугается при виде негра. А вот стихотворение о парне, которого «ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут везде, но не могут найти парня какого-то лет двадцати...»

Я заглядываю в конец книги – может, все-таки найдут? Но нет. «Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего», – говорит мама.

Однако больше всего мне нравится «Человек с улицы Бассейной». «Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава засунул руки – оказалось, это брюки...» Очень смешно! «Стал натягивать гамаши – говорят ему: “Не ваши”...» Но самое смешное: «Позвольте у трамвала вокзай остановить».

В комнате еще есть казенный шкаф. Он безликий и равнодушный. Есть еще и этажерка. К ней у меня нежное чувство – там книги и мои тоже, а сама она легкая, тоненькая, не то что черная оттоманка, покрытая кожей, или полки до потолка, или печка до потолка. А над столом низко нависает оранжевый с бахромой абажур. Его я тоже люблю. Он льет радостный свет, и, когда за окном темно, в комнате очень приятно, я защищена от темного окна светом, ярким, как солнце. Светло...

– Ингочка, ты кого больше любишь, – спрашивают родители, – папу или маму?

– Папу-маму, – быстро отвечаю я.

– Нет. Ты выйди в другую комнату, чтобы она тебя не видела, – говорит мама, обращаясь к папе.

– Ингочка, ты кого больше любишь – папу или маму? – присаживается мама на корточки и заглядывает мне в глаза.

– Тебя.

– Вот видишь, – говорит мама, вставая с корточек и обращаясь к папе.

А потом, когда мама уходит:

– Ингуся, ты кого больше любишь – меня или маму?

– Тебя.

Вечером, перед тем как заснуть, слышу: «Хитрит наша Ингуся. Маленькая, а обидеть не хочет».

«Хитрит Ингуся». Слова как слова – «хитрит Ингуся», – а у меня сейчас слезы на глазах.

Как-то мы с папой идем по длинному мосту через Неву. Я люблю этот мост, мы часто бываем здесь с мамой. Там, ограждая меня от реки, сидят женщины со щитами в руках. Вместо ног, мне кажется, у них хвосты. «Почему хвост?» – «Это русалки». Кто такие русалки? Русалки, в руках щиты и смотрят на меня. Мама крепко держит меня за руку, а я, затаив дыхание, смотрю на них. Очень хочется дотронуться до них рукой – до этих загадочных женщин с хвостами. Их много, они будто передают меня одна другой... Но в тот день, который вспоминается, меня ведет папа. Мы проходим мост быстро, я не рассматриваю русалок, мы куда-то спешим. Спускаемся с моста и начинаем ходить по набережной вдоль Невы туда-сюда. Я не понимаю, почему мы не идем дальше, папа все время смотрит на часы и вдруг говорит: «Ингуся, иди сама вперед. Я тут подожду». Я оглядываюсь на папу, правильно ли расслышала. Он кивает: «Иди, иди». Я иду среди толпы, которая валит мне навстречу, и вдруг вижу маму.

– Мама! – кричу я и бегу к ней.

Тут же появляется папа.

– Я говорил тебе, что она узнает даже среди толпы, – произносит он.

Но мама, кажется, не очень рада.

– Все-таки она очень маленькая.

– Ну я же смотрел, – оправдывается папа.

– Очень маленькая, – повторяет мама.

– Ингуся узнала тебя среди такой толпы, а ты сомневалась! Молодец, Ингуся, – говорит папа и сажает меня себе на плечи.

Наверное, мне еще два года.

В три я уже чувствую себя большой. Совсем большой.

Однажды зимним вечером я слышу:

– Здравко, как ты мог? Могли увидеть. Будут неприятности.

Мама испугана, а папа доволен.

– Я иду. Смотрю – в подворотне мужик елку продает. Я взял и спрятал ее под шинель. Это тут рядом. Ингуся, гляди: это елка.

Я трогаю веточки, они колючие, но я понимаю – это что-то очень важное... Родители радуются. Мама присаживается на корточки и украшает елку.

– Ингочка, это бомбы, – говорит она, показывая мне шоколадные конфеты, обернутые в золотую бумагу. А это мандаринчики.

Мандаринчики мне очень нравятся. Они так пахнут, и вообще они какие-то веселые. Сами ярко-желтые, а обернуты в полосатую белую с синим бумагу. Я впервые пробую их на вкус. Теперь-то я понимаю – это от испанской войны. Из Испании. Я знаю про испанскую войну по открытке, которая у нас на столе. Я долго ее разглядываю.

Такая страшная картинка: серый самолет в небе, а на пустынной улице лежит девочка, около нее красное пятно. Женщина с черными, коротко стриженными волосами, в красной

косынке, с грудным ребенком на руках бежит через улицу, прикрывая ребенка рукой. Я слежу со страхом за ней и за самолетом. Успеет ли она скрыться в доме?

– Мама, кто лежит на мостовой? Девочка?

– Нет, кукла.

– А почему кровь?

Я долго разглядываю открытку. Как пустынна улица! Только неподвижная девочка лежит на булыжной мостовой, раскинув руки, только бегущая женщина с черными волосами в красной косынке...

– Мама, это не кукла, – говорю я, – это девочка.

– Это кукла, – произносит мама и убирает открытку со стола.

Сейчас я удивляюсь: откуда мне было знать, как выглядит самолет? Но отчетливо помню – маленький, серый, с прямыми, будто обрубленными по концам крыльями самолет, висящий в небе между домами.

Выходной день не похож на другие дни. Утром мама приносит тазик в комнату, я протягиваю руку, а папа берет мою руку, намыливает, затем берет другую. «Вот другая». Папа трет мои ладошки одну о другую: «Обе моют хорошо, одна моет другую, обе моют личико».

Двумя моими ручками он проводит по лицу.

Однажды в воскресенье мы пошли в зоопарк. Вечером папа и мама спрашивают:

– Что тебе больше всего понравилось, Ингуся, в зоопарке?

– Птички.

– А еще что?

– Птички. Они такие веселые, разноцветные, их много, они летают туда-сюда.

– Ну а слон? Слон тебе понравился?

Я молчу. Я не помню слона.

– Такой большой, огромный.

Очень мне не хочется огорчать родителей. Я напрягаюсь.

– Он такой большой, большой, серый, у него хобот.

Нет, я не помню. Почему-то вспоминается высокая серая стена. Может, это и был слон?

– Вспомнила, – говорю я. – Такой большой, похож на стену.

Мне кажется, мама и папа разочарованы.

Я болею, и мне это очень нравится. Мама становится еще более ласковой, я вижу ее озабоченное, страдающее лицо, которое все время обращено ко мне. Меня опять по очереди папа и мама носят на руках, и голова моя не держится на тонкой худенькой шее. Я, как грудной младенец, не могу держать голову. Вот тогда и входит в мою жизнь ОНА – всемогущая Военно-медицинская академия. Это и военные в шинелях, как у папы, спешащие по улицам, это и прекрасные слова: «Боткинская», «Клиническая»... Это и штаб – желтое здание с зеленым куполом.

«Профессор Знаменский... профессор Знаменский», – слышу я. И вот он приходит. Нет, не могу я вспомнить его вида. Кажется, у него была борода. Знаю, что он в военной форме, что на нем белый халат. Знаю, что мама перед его приходом меняет все мое и так чистое белье, застилает на тумбочку у моей кровати белоснежную салфетку. Знаю, что я уже давно переведена в большую комнату, где много воздуха, где можно долго ходить со мной на руках, и я кладу голову на плечо то мамино, то папино. Профессор Знаменский...

– Ты пригласил профессора Знаменского? Он согласился прийти на дом?

Профессор Знаменский слушает папу, маму, смотрит на меня. Язык, горшок. Горло, глаза... и, наконец, наклоняется надо мной, прикладывает маленькую коричневую трубочку к моей груди.

– Инфильтрат легких, – говорит он, выпрямляясь. «Инфильтрат легких»... Не понимая, я буду долго с гордостью это повторять. «У меня был инфильтрат легких, когда мне исполнилось три года».

Я иду с мамой по коридорам академии, важная, в сером шерстяном вязаном костюмчике, который мне очень нравится, он такой ладненький, так обтягивает меня, он гораздо лучше, чем платье, он серый, но на груди его карманчик с двумя желтыми полосочками. Я иду по коридору, и всё мне здесь мило – все со мной такие добрые, я даже не морщусь, когда у меня берут кровь из пальца. Длинный коридор, двери в комнаты... И всё пропитано прекрасным запахом спирта и йода.

Мама читает мне рассказ Куприна, как девочка болела и поправилась только после того, как ей привели слона. Я рассматриваю картинки – слон такой большой по сравнению с девочкой... Я не верю – как это?

– Ты же говорила, что он очень большой? Как он вошел в дверь?

Мама задумывается.

– Ну, наверное, папа выломал дверь.

– А как же он не провалился в комнате?

– Ну, папа всё укрепил.

– А как же он шел по ступенькам?

– Папа укрепил.

И я понимаю: если я захочу увидеть слона, то папа все укрепит и слона приведут.

Есть и фотография того времени. Я в меховой шубке, меховом капоре, слева на капоре приколотые мамой две вишенки.

Я, улыбаясь, смотрю на мир. Счастливая, любимая и веселая. Чуть лукавая. Мне три года.

Оперев на сложенные руки голову с двумя бантами по бокам, я доверчиво смотрю объектив. Точно знаю, что на фотографии – я. Но не верится. Неужели это та девочка, которая охраняла папин сон? У девочки на фото уже есть свой мир. Это чувствуется.

В нашем доме появляются две новые женщины. Одна – Мотя, а другая – немка. Мотя огромная, с длинными руками, некрасивая, мне она напоминает лошадь. Говорит громко, маму называет Верой Чеславной, на меня внимания не обращает. Мотя стирает, убирает и ходит по магазинам. Вторая, немка, – полная, невысокая, в очках. И всегда в чем-то сером вязаном. Она со мной гуляет. Папа с ней общается только по-немецки, и она со мной говорит по-немецки. Указывает на стол и произносит: «Дер тыш». Указывает на стул и говорит: «Дер штуль»... А вечерами мы поем с папой: «О таненбаум, о таненбаум...» Я сижу на его коленях и повторяю непонятные слова, но меня это не удивляет – так много непонятных слов! Мама ходит на работу, немка гуляет со мной. Мы выходим с ней гулять. Она говорит по-немецки, я не понимаю, я даже не вижу ее лица. Я держу ее за руку, а сама тоскую по маме. Мы приходим в скверик рядом с нашим домом.

Как только немка усаживается на скамейку, я бегу к прекрасной черной женщине, сидящей высоко в чаше фонтана. Мне неинтересны другие дети, меня притягивает и не отпускает черная женщина в чаше фонтана.

Прекрасная, черная, блестящая женщина, окутанная черным покрывалом, всегда меня ждет. Изогнув руку, она держит кубок, а по руке, извиваясь, ползет черная змея, из открытого рта змеи льется струя воды в кубок. Женщина, замерев, задумчиво смотрит на то, как из зме-

иного горла выливается вода. Я могу стоять всю прогулку, не двигаясь, и слушать, как течет вода, смотреть на кубок, на красивую загадочную женщину, на колышущуюся воду в чаше фонтана. А через дорогу в маленьком скверике сидит моя немка и ждет меня.

И вдруг я замечаю, что мимо меня идет папа в гимнастерке и с ним еще двое военных.  
– Папа! – кричу я и бегу по лужам в ботиках.

Папа не останавливается, отстраняет меня, что-то кричит недовольно немке, я растерянно смотрю вслед. А папа бросает недокурную папиросу прямо на мостовую, плюет и быстро удаляется в красное здание клиники. Потерянная, я смотрю вслед. Это уже не мой папа, который смеется со мной по вечерам. «Мама бы так не сделала», – думаю я.

Мотя ходит по магазинам, а мама готовит. Мотя готовить не умеет.

– Это разве цыпленок? – кричит моя мама, всегда тихая и нежная. – Это разве цыпленок? Это дохлый петух! Сколько он будет вариться? Сейчас придет Здравко Васильевич – чем я буду его кормить?

Мотя оправдывается, а я впервые слышу мамин крик. Вообще я люблю сидеть на корточках и смотреть, как мама готовит обед. Всего больше меня интересует примус, его синенький огонек, иногда он затухает, мама нервничает, тянет желтенькую палочку, втыкает в бок примуса, раз, другой, третий – это называется «качать примус». И всегда мама тихо поет. Мы не разговариваем, мама тихо поет. «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, горишь ты вся в огне... Под деревом развесистым сидит задумчив бур...» Не знаю, что такое Трансвааль.

– Это страна, – говорит мама.

«Красная», – думаю я. У меня уже давно каждое слово имеет свой цвет. А бур – это старик, коричневый, он живет в этой стране... И вижу я коричневого старика, он сидит, привалившись к стене маленького глиняного дома, опустил голову, и поет: «Трансвааль, Трансвааль...»  
«Меж высоких хлебов затерялся...» – тихо поет мама.

Кроме примуса в нашей всегда пустой кухне меня интересует еще одна вещь – в углу позади меня дверь, заколоченная досками крест-накрест. Я часто оглядываюсь на нее, она мне неприятна и, кажется, несет угрозу.

– Мама, что это?

– Дверь.

– Почему заколочена?

– Ею сейчас не пользуются.

– А зачем она?

– Раньше по ней можно было выходить во двор. Это черная лестница.

– А почему сейчас не пользуются?

Мама не отвечает, она опять качает примус.

Я не слышу, чтобы с мамой кто-то разговаривал. Я вообще никого не вижу на кухне. Никого не помню из соседей, не помню, чтобы мама с кем-нибудь дружила. Дверь в нашу большую комнату, вторая от парадного, всегда плотно закрыта, как и все другие высокие двери в полутемном коридоре. Коридор заворачивает куда-то направо и исчезает в полумраке, я никогда не доходила до его конца. Мама мне не разрешает выходить не только на лестницу или спускаться к «злому титану» (с горячей водой), но и в коридор. Я очень тихая. Мама не разрешает шуметь. И вся наша квартира тихая. («Тиха, как бумага», – это и про нее сказал Мандельштам.) Дом тоже тихий. И только среди ночи иногда где-то раздастся особый звонок, срывающий всех с постелей, громкий, требовательный...

Из нашего дома по ночам уводят. Но я этого пока не знаю. Как понимаю сейчас, уводят именно тех профессоров, которые так блестяще читали папе лекции всего пять лет назад.

Из детских воспоминаний, когда мне было два-три года, осталось также посещение тети Кати – так ее называет мама. Мы ходим к ней в гости только вдвоем с мамой. Открываем тяжелую парадную дверь, и в темноте коридора меня сразу завораживает круглое окно над пролетом широкой лестницы. Окно разделено на треугольнички и сияет синим, красным, желтым, зеленым светом. Несколько ступенек до круглого сияющего окна, поворачиваем, еще несколько ступенек вверх – и вот квартира, где живет тетя Катя.

Комната тети Кати вся погружена в полумрак, и только на многочисленных маленьких столиках стоят лампы, прикрытые разноцветными шелковыми платками. И еще ширмочка в углу. Она меня волнует, хочется заглянуть за нее, она такая ладненькая, легкая, коричневая, таинственная. Она стоит в углу, слева от меня. «Из бамбука», – говорит тетя Катя. Я знаю, что там маленькая кровать тети Кати. Очень хочется заглянуть туда, но нельзя. Там кровать тети Кати. Эта комната, как из сказки, – я знаю, что нельзя двигаться и даже шуметь. Я только люблю, а мама и тетя Катя о чем-то быстро и, мне кажется, весело разговаривают. Я могу сидеть часами за маленьким отдельным столиком и пить чай из прекрасной чашки. Тетя Катя – двоюродная сестра моей бабушки. Я ощущаю, что тетя Катя переполнена чудесами, она совершенно не похожа на других, и мама рядом с ней становится другой – молодой и веселой. На меня не обращают внимания, но мне сейчас это и не нужно. Я вся поглощена необыкновенно красивой комнатой со множеством разных разноцветных огней, которые пробиваются сквозь платки, накинутые на настольные лампы. Уже через много-много лет я узнаю историю тети Кати. Она дочь генерала, погибшего на Кавказе, сражавшегося с Шамилем. Воспитывалась в Институте благородных девиц, удрала из родительского дома в Петербург, окончила курсы медицинских сестер, участвовала в русско-японской войне и была – «представь себе, Верочка» – награждена медалью за Порт-Артур.

В памяти осталось еще два дома, которые я посещаю вместе с родителями. Один из них – дом Радайкиных Сергея Дмитриевича и Рахили Моисеевны. Каждый раз у них, пока меня раздевает мама, я внимательно разглядываю вешалку в прихожей. Она точь-в-точь такая, как на картинке в книжке «Человек рассеянный с улицы Бассейной». Я внимательно рассматриваю вещи, висящие на вешалке, и ищу гамашу. Такое веселое слово и немножко непонятное: «Стал натягивать гамашу, говорят ему: “Не ваши”». Потом я иду в комнату, мне на стул ставят патефон. Кажется, что все время я провожу, стоя у патефона. И смотрю, смотрю на блестящую головку, из которой льется: «А вчера прислал по почте два загадочных письма...» Я немножко хитрю: случайно замечая, как поглядывают в мою сторону родители и хозяева, я трясую головой, облизываю губы, чуть приплясываю. Немножко подыгрываю им, сидящим за столом и глядящим на меня. Где-то в другой комнате находится Майя, моя сверстница, но мы с ней не общаемся. Она очень строгая, важная, нам не о чем разговаривать.

Ходим мы и еще в дом Лукановых – дяди Андрея и Анны-Ванны. Инесса, их дочь, слушает меня. Она чуть младше и очень толстая, но мне с ней легко, и у меня к ней покровительственное отношение. В этой комнате меня интересует большая фотография, я не могу разобрать, что изображено.

– Мама что это?

И мама шепотом:

– Это первая жена дяди Андрея – Валя. Он ее очень любил. Она умерла.

Я внимательно смотрю, и возникает силуэт женщины с закрытыми глазами, лежащей среди цветов.

И после этого каждый раз, когда приходим к Инессе, я подолгу смотрю на фотографию, на женщину, лежащую с закрытыми глазами и усыпанную цветами, стараясь разглядеть ее лицо. Я боюсь обидеть тетю Аню и подхожу к фотографии, когда тетя Аня скрывается в кухне. И

отхожу от фотографии, как только тетя Аня появляется в комнате. Но я понимаю, что тетя Аня заметила это, и мне немножко стыдно.

Мама с папой сидят рядом на диване, который покрыт белым чехлом. А над ними на полочке на белой салфетке стоят белые слоники в ряд по росту друг за другом. Их много. Мне хочется их потрогать. Но нельзя.

Мне три года. Наступает тридцать седьмой год.

Этот год был страшен для моих родителей. Исчезла радость из жизни. Исчезла шутка. Возможно, поэтому я тот год плохо помню. Летом тридцать седьмого папа не едет, как обычно, в Эссентуки, а отправляется с нами на родину мамы, в Рыльск. Этот старинный город обладал необыкновенным обаянием.

Ландыши в решете на базаре, топленое молоко в глиняных кувшинах, крынки со сметаной. Пахла лавка, где продавали керосин. Улицы поросли ромашкой и травой. По околотку ночью ходил сторож, стучал в колотушку. Проснешься, ждешь – слышишь постукивание – стук-стук – становится спокойнее, и засыпаешь...

За деревянными глухими воротами – сады. И вслед за Курдюмовыми я повторяю:

– Как пахла трава в Рыльске!

По дороге в Рыльск мы останавливаемся в Москве. Навещаем папиного друга Кирчо. Я давно слышала это имя и рядом с ним другое, очень похожее – Мирчо. «Кирчо-Мирчо, Мирчо-Кирчо», – смеялась я. Считала, что это один человек.

У Кирчо, помнится, комната была вся заставлена мебелью. Вглубь не пройти. А у входа стоял серый диван, на котором сидели папа с мамой. Помню, как меня заставили ходить туда-сюда вдоль дивана к двери, а папа с Кирчо, присев, смотрели на мои ноги. И Кирчо сказал: «Ваша дочь не поблагодарит вас, когда вырастет, если вы ей не закажете ортопедическую обувь. У нее косолапие и пятки искривлены». Маме это очень не понравилось – какая еще ортопедическая обувь!

Сходили мы, конечно, и в Мавзолей.

Я помню темно-красный странного вида дом.

– Это, Ингуся, Мавзолей. Там лежит Ленин.

Я, преисполненная важностью момента, иду среди людей. Мы медленно движемся среди очереди. Один за другим. Входим в темную комнату. Неприятно, темно, как-то сыро, я ничего не могу разобрать. Только посередине возвышается что-то, и там ярко горит свет. Тихо. И я молчу. Я преисполнена важности момента, как и люди, окружающие меня. Когда наконец выходим, я громко говорю:

– Ну, у Ленина мы были, а теперь пойдём к Сталину.

Папа быстро разворачивает меня спиной к Кремлевской стене, и мы уходим.

Сейчас я поражаюсь. Ну, Сталина я знала. «Сталин часто курит трубку, а кисета, может, нет. Я сошью ему на память замечательный кисет...» – декламировала я в гостях, и папа, довольный, снимал меня со стула. Ну а Ленин? У нас в наших комнатах был только один портрет, не портрет даже, а открытка: «Толстой-непротивленец». Откуда я знала, что к Сталину надо идти в Кремль через большие ворота? Я не помню, чтобы мне об этом читали.

В Рыльске мы останавливаемся не у тети Лели, маминой сестры, а снимаем комнату в маленьком доме на Вознесенской горке. Мне гораздо больше нравится гора Ивана Рыльского, она выше, покрыта вся травой. Но там нет домов. Мы с мамой идем посмотреть комнату на Вознесенской горке. Улица мне не нравится, пыльная, без травы, очень широкая, по обеим сторонам стоят одинаковые маленькие дома. Открываем калитку, проходим двор, ступаем в дом, и

первое, что я вижу и что меня пугает, – строгие глаза женщины в странном одеянии, смотрящие прямо на меня из угла.

– Мама, это что за цыганка? – цепляюсь я за мамин подол и даже прячу лицо.

Чувствую, как вздрагивает мама. Мне кажется, она недовольна. Оглядывается по сторонам, наклоняется ко мне и шепотом:

– Это не цыганка, это Богородица.

В голосе мамы я чувствую недовольство. Недовольство мной. Значит, и кто такая цыганка я знала, и Ленина и Сталина знала, и «непротивленца Толстого», а вот Богородицу – нет.

Лето 37-го было страшным для моих родителей. Начались аресты. Некоторых папиных друзей уже арестовали, и папа с мамой знают это. Лето 37-го страшно. Родители ожидают ареста. За нами уже идет слежка. По ночам выл ветер в трубе, предвещая беду, лаяли собаки, хлопала калитка, мама вскакивала с кровати, подходила к окну, всматривалась в темный двор. Смотрела с черной доски Богоматерь. Целый месяц все ночи мама простаивала у окна, сторожила. А днем они даже не прятались. Каждый день несли службу. Куда бы мы ни пошли, за нами следовал человек в зеленой фуражке. Он и не думал скрываться. Он шел на определенном расстоянии.

Что осталось у меня от воспоминаний о лете 37-го? Почти ничего. И я думаю, как важно участие родителей в жизни ребенка. В Рыльске в 37-м году ни папа, ни мама не занимаются мной. Это лето полно ожиданий ареста. Не помню, чтобы мы ходили купаться на речку, не помню Горика, двоюродного брата, смутно помню Татку. Папа по целым дням пропадает в библиотеке, и от него узнаем, что Рыльск стоит на подземных ходах, прорытых еще со времен татар, что в горе Ивана Рыльского много пещер. Помню гурьевскую кашу – папа готовит ее у тети Лели. Но комнат тети Лели, Горика и Татки я не помню. Помню, папа подает гурьевскую кашу на противне. Она вся шоколадная. И мне кажется, что ничего вкуснее за всю жизнь я не ела, и недоумеваю, откуда папа знал, как ее готовить. Что еще помню? Папа ведет меня и Горика в музей, что рядом с домом тети Лели, за углом. Музей двухэтажный, красивый красный дом со ступеньками, ведущими к парадному. Я вхожу следом за папой, он быстро исчезает где-то впереди, а я остаиваюсь у пианино. Оно открыто и стоит прямо под деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. Пианино раскрыто, блестят клавиши, и так хочется нажать на одну из них. Где-то впереди я слышу голоса, вижу людей – папу не вижу

– Я вот сейчас возьму и нажму клавишу, – говорю я.

– Нельзя – что ты! Нельзя! – говорит Горик.

– А я вот нажму.

Я протягиваю руку, вижу, как Горик отодвигается от меня. А я нажимаю белую блестящую клавишу. Сразу раздается звук. И сразу же слышу грозный женский голос:

– Кто подошел к пианино? Пианино трогать нельзя.

А я даже и не пытаюсь прятаться. Продолжаю стоять у пианино, не двигаясь, и смотрю на ряд блестящих белых и черных клавиш. Для меня пианино, как для туземца бусы. Возможно, я видела пианино и до этого. Иначе откуда знать, что, если нажать клавишу, будет звук? Но впервые я запомнила пианино именно в рыльском музее и впервые там прикоснулась к клавишам.

Что еще вспоминается? Я прошу папу сводить меня на мельницу. Почему? Не знаю. Вероятно, папа что-то рассказывал. У меня это навязчивая мечта. Но она осуществится спустя семь лет, в том же Рыльске, и оставит разочарование – огромный зал, пустой. Два больших круга. И это всё?

Запомнился ясно один день. Мы идем по мосту. Я, как всегда, посередине, папа слева, мама справа. Мы только что сошли с Вознесенской горки и ступаем на мост. Он широкий, чистый, желтые доски сияют, будто только что вымытые. Мост через Дублянку, маленькую

речку, текущую под Вознесенской горкой. Идем молча, и вдруг мама говорит: «Он идет за нами». Папа не отвечает, молча он идет вперед, и, хотя держит меня за руку, мне кажется, что он очень далеко. Мне кажется, что, заговори я с ним, он не услышит. И идет как-то медленно, очень твердо ступая. Идем молча. Мама опять оборачивается: «Он все идет за нами». Папа молчит и продолжает все так же медленно и твердо ступать, глядя вперед. И опять я чувствую, что мне надо молчать, что ни папа, ни мама не услышат меня. И вдруг мама выпускает мою руку и говорит: «Я сейчас подойду к нему и спрошу, что ему надо. Вон он, в зеленой фуражке». Папа молчит. А мама поворачивается и идет назад. Я не гляжу маме вслед, но почему-то кажется, что вижу быстро удаляющуюся мамину спину в цветастом платье. Мама нагоняет нас, когда мы уже сходим с моста и приближаемся к базару. «Я подошла, – говорит мама, – а он отвернулся и плюнул в реку». И сейчас я не понимаю – то ли вижу мамину спину, мелькающую среди идущих по мосту, то ли это мамин рассказ, но почему-то ясно вижу человека в зеленой фуражке, перегнувшегося через перила моста, и маму, стоящую рядом. А папа идет молча. Мама рассказывает, а папа молчит и смотрит вперед. Мне не нравится папа, он как будто отделился от меня, не слышит, не видит, и даже представить трудно, что он возьмет мою руку и скажет: «Вот вам ручка, вот другая...»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.